

присяжным поверенным в Красноярске был. Щапова тоже встречал, когда он приезжал материалы собирать.

...Иванов — прямое продолжение школы прерафаэлитов — усовершенствованное. Никто не мог так нарисовать, как он. Как он каждый мускул мог проследить со всеми разветвлениями в глубину».

Показывая этюд девушки с сильным скуластым лицом: «Вот царевна Софья, какая должна была быть, а не такая, как у Репина. Стрельцы разве могли за такой рыхлой бабой пойти? Их вот такая красота могла волновать, взмах бровей, быть может.

...Пугачева я знал. У одного казацкого офицера такое лицо...».

## 1915 год

*Париж. 1915 г. 5 марта. Вечером.*

Бальмонт лежит. Я сижу рядом, опершись рукой через его ноги:

«Да, это было в марте 1890 г. — двадцать пять лет назад. Раньше — Лариса отняла меня у моей невесты. У меня была неврастения. Я был исключен из университета. Посхал в Шую к родным. Вечером мы сидели — она положила голову на плечо... Утром, лишь зашли в мою комнату: “Я сейчас еду в Иваново-Вознесенск. Хочешь со мною?” Я поехал. Она играла со мной. Обещала поцеловать. Потом поцеловала. Через 2 месяца мы были женаты. Она ревновала. После первой ночи я понял, что ошибся. Она так ревновала. Даже от матери хотела удалить меня. Наш первый ребенок умер. Мать ей сказала: “Это ваша собственная вина”. Это было несправедливо. Ребенок умер от менингита. Лариса бросила салфетку в потолок и сказала: “Нога моя больше не будет в этом проклятом доме”. Отец подошел к ней. Он был тогда накануне самоубийства. Он, честнейший человек, был тогда обвинен в растрате — он был председатель земской управы. Пропало 20 тысяч. Потом оказалось, что бумаги завалились за шкаф... Дурак секретарь. Но это позже узналось... Я ему сказал — я еду

с Ларисой. Мы поселились в номерах “Лувр и Мадрид” против дома генерал-губернатора. У меня неврастения была еще хуже. Психиатр Корсаков мне прописал водолечение. Но мне лучше не стало. Когда Лариса заходила в магазин, а я ее ждал на улице, я вдруг ловил себя на мысли, что, если бы она сейчас умерла, я бы мог жить. Нам мой товарищ, студент, принес “Крейцерову Сонату”. Она тогда только что вышла. Еще сказал: “Только не поссорьтесь”. Я читал ее вслух. И в том месте, где говорится: “Всякий мужчина в юности обнимал кухарок и горничных”, — она вдруг посмотрела на меня. Я не мог и опустил глаза. Тогда она ударила меня по лицу. После я не мог ее больше любить. В нашей комнате, где две кровати стояли рядом, я чувствовал себя стариком. Мне всё мерещился длинный коридор, сужающийся, и нет выхода. Мы накануне стояли у окна в коридоре номеров. Она, как будто отвечая на мою мысль, сказала: “Здесь убиться нельзя, только изуродуешься”. На другой день я в это окно бросился. Страшно было через подоконник перелезть. Я бросился бежать по коридору от самой двери. Потом, когда голова в воздухе начала вниз переворачиваться, я увидел в противоположном окне мужика, который мыл стекла. Мелькнула мысль; а вдруг я упаду на кого-нибудь... Я потерял сознание. Когда я очнулся, вдруг понял, что это было неверно. Тогда я закричал. И моему крику из окна ответил такой же крик, ей уже сказали. У меня был рассечен весь лоб, разорван глаз. Кисть левой руки окровавлена, сломан мизинец, правая рука, нога переломаны. Доктора зашили мне лоб и глаз. Сказали, что нога зарастет, но рукою я никогда не буду владеть. И всё оказалось неверно. Рукою я владею. А нога не зарас<та>ла 6 недель, и еще 6, и еще. Там был восьмидесятилетний старик — у него скорее зарос перелом, а в моем молодом организме не было совсем сил. Лариса приходила ко мне и упрекала меня. Было лето. Она томила в Москве. Ей хотелось уехать. А у меня было отчаяние. Мне мать присылала куропаток и зайцев. Я нарочно глотал большие острые кости, чтобы умереть. Но не знаю, что со мной сделалось. Только в августе я стал ходить с костыликом... Я до этого издал свою первую книгу, которую потом уничтожил. Всё издание стояло у меня в



комнате. Она была издана на мой счет. У нас денег не было. Лариса меня упрескала сю. Мне казалось, что в комнате лежит труп убитого мною человека. Потом мы жили на Долгоруковской, в доме Зайченко — в той квартире, где ты жил ребенком. На следующую весну у меня был прилив сил. Мы поехали на дачу. У меня оказалось 100 рублей, и я купил много книг. Я в это лето изучил 4 языка: французский, немецкий, итальянский и норвежский. Мне стало невыносимо там. Я уехал в Москву. Жил в меблированных комнатах на Знаменке против Румянцевской библиотеки. Денег опять не было. Я три месяца питался чаем. Да на обед спрашивал себе супу, а <1 сл. нрзб.> оставлял на вечер. Я прочел тогда всё Ибсена и Мопассана — в оригинале. Два писателя, которые на меня имели самое освобождающее влияние. Б<ыть> м<ожет,> Мопассан даже больше. Я понял, что можно желать и любить без раскаяния. Помню, ко мне пришли вечером четыре курсистки. Одна из них была переводчица Маслова. Они ушли, а она вернулась — забыла муфту. И вдруг у меня мелькнула мысль, знаешь, вот здесь (он показал за ухом). Я пошел ее проводить. Мы пошли к ней ужинать. Я купил ½ бут<ылки> коньяку. В эту ночь мы обнимались. Когда я в 7 час<ов> утра возвращался домой по Тверскому бульвару, я хохотал. Дьявольским хохотом, громко. Дворник, что подметал, подошел, положил руку: “Что с Вами, барин?” С меня вдруг всё соскочило сразу. Вся прежняя, многих лет, застенчивость, когда я был другом девушек и не смел к ним прикоснуться. И меня тогда не любили. Ведь нельзя полюбить совсем чистого в себе человека. Тут я всё сразу сбросил с себя, сразу почувствовал, что теперь могу подойти к любой женщине и что ни одна теперь не сможет мне противиться. Я подходил, зная, что уйду. И все-таки у каждой оставлял свою свободу. Ах, как трудно было уйти от Ларисы. Я раз сказал ей: “Я тебя больше не люблю, нам надо расстаться”. Она так согнулась в кресле и повторяла: “Чайка! Чайка!!” Лариса — значит чайка. Т. е. что и она такая же бесприютная. Это было так невыносимо, что я подошел и сказал: “Я это сказал, чтобы испытать тебя. Это шутка”. Она сделала вид, что поверила. Потом, когда я встретил Катю, — это стало совсем невыносимо».



Этому разговору на диване предшествовала такая сцена. Когда мы вошли в комнату и заперли дверь, Баль<монт> вдруг подошел ко мне, положил мне руки на плечо и сказал решительно: «Макс, это так больно, так унижительно (вино). Это было вчера. Я даю тебе клятву, что больше никогда не коснусь вина, ни одной капли. Вот теперь. Клянусь тебе. Это я на тебя с завистью смотрел. Ты так легко и свободно отказываешься от него, без всякого аскетизма. Мне всегда казалось, что неловко отказываться».

Потом мы долго говорили о любви, о ревности, о рабстве, о Е<лене>.

1916 год

*1916. Январь. Париж.*

Ривера. Огромный, тяжелый. Надбровные дуги крыльями. Короткие, жесткие, черные волосы по всему черепу, вместительному, но местами смятому и вдавленному пучками. Борода по щекам вокруг лица. Лицо портретов Стендаля, тяжелое и значительное. Добрый людоед, свирепый и нежный; щедрость, ум, широта в каждом жесте. Он говорит про себя: «Все мои предки и родственники были военными. И я должен был быть военным. Я изобретал с детства машины. Потом играл в солдаты. У меня было 15 тысяч вырезанных из бумаги и пушки бронзовые. И всех моих товарищей я заставил сделать то же. Я чертил диспозиции и планы кампаний. У меня была такая вот кипа. Однажды отец увидел. Рассердился. “Где ты это срисовал?” – “Я не срисовал, а сам сделал”. Тогда он поцеловал меня и сказал: “Очень хорошо”. И на другой день повез меня к военному министру. Там собрался целый совет стариков. Я перепугался. Они рассматривали мои планы. Потом министр открыл дверь в библиотеку и сказал: “Ты можешь сюда приходить работать, как дома”. Он был другом отца: они каждый день играли в шахматы. Но это и погубило мою военную карьеру: я испугался столько книг, а войну совсем не так себе представлял. Но я увидел в библиотеке модель фрегата. Это меня пленило, и захотелось